



Flegon Press

**БУЛАТ
ОКУДЖАВА**
**ВЕСЕЛЫЙ
БАРАБАНЩИК**



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • МОСКВА • 1964

**FLEGON PRESS
LONDON
1966**

Бучице
Ожужнава

ВЕСЕЛЫЙ

**БА-
РА-
БАН-
ЩИК**

«Веселый барабанщик» — третья книга Булата Окуджавы (первая — «Лирика» — была издана Калужским издательством в 1956 году, вторая — «Острова» — выпущена в «Советском писателе» в 1959 году).

Большинство стихов, вошедших в настоящий сборник, опубликовано в газетах и журналах.

Другу моему, маме

ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Когда метель кричит как зверь —
протяжно и сердито,
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.

И если ляжет дальний путь,
нелегкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.

И, уходя в ночной тиши,
без лишних слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена
и мягкой — скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
замку цена — копейка!

КАРАВАЙ

Вы видели, щиток приоткрывая,
в задумчивой и душной глубине
прищуренные глазки

каравая,
когда он сам с собой наедине?
Когда очнуться

не хватает мочи,
когда румяный край — под цвет зари,
о чем он думает?

О чем бормочет,
ленивые глотая пузыри?

А в нем живут сгоревшие поленья,
старанья мастериц и мастеров.

Он,

как последнее
стихотворенье,
и добр, и откровенен,
и суров.

И задыхается
на белом блюде
от радости рожденья своего...
И кланяются караваю
люди
и ломтики уносят от него.

Грохот палочек... то ближе он, то дальше.
Сквозь сумятицу,

и полночь,

и туман...

Неужели ты не слышишь,

как веселый барабанщик

вдоль по улице пронесит барабан?!

ЧЕЛОВЕК

Дышит воздухом, дышит первой травой,
камышом, пока он колышется,
всякой песенкой, пока она слышится,
теплой женской ладонью под головой.
Дышит, дышит — никак не надышится.

Дышит матерью —
она у него одна,
дышит родиной —
она у него единственная,
плачет, мучается, смеется, посвистывает,
и молчит у окна, и поет дотемна,
и влюбленно
недолгий свой век перелистывает.

Вы знаете, сколько печали
пришлось перевидеть земле,
чтоб эти левкой стояли
так просто
на вашем столе?

Подумайте только:

веками
шла битва за этот цветок,
чтоб вы ощутили руками
надменный его холодок.

И самые лучшие люди
сгорели в жестокой борьбе,
чтоб вы королевских левкоев
купили.

Представьте себе!

Но тем, что в сражениях пали,
и тем, что остались в живых,
от пуль уцелев,
от печалей,
от пыток и ран ножевых,
и в годы мытарств,
и в покое,
и в юности,
и повзрослев...
им вовсе не снились левкой,
левкой — цветы королев.

Представьте себе:

баррикада
и знамя в крови и пыли...

А где-то, и может быть рядом,
спокойно левкои цвели.

Подумайте:

тьмою зловещей
грозится сырой каземат...
А где-то левкои трепещут
и сладостен их аромат!

Скажите, легко ли?

Легко ли?..
Вкус горечи в каждом глотке...
Ах, только б левкои,
левкои,
левкои — на каждом лотке!

Законы любви непреложны.
И завтра грядет выходной.
И этот лоток невозможный —
на Лиговке,
у проходной.

И может быть, в том, что так просто
цветы принимаете вы,
поэзия встала над прозой...
И те, что погибли,
правы.

И в будничном вашем движенье,
быть может, и скрыта как раз
вся суть пережитых сражений
и даром не сказанных фраз,
когда,
приминая рукою,

от запаха чуть захмелев,
вы в дом свой несете левкой,
левкой —
 цветы королев.



Анкара, Анкара!
Не за синие вечера
с севастопольского причала
полюбили тебя юнкера.

...А в крымской пыли
всё маки цвели,
а погоны и кокарды
повыцвели.

И на утренней заре,
отгуляв до поры
и поротно,
закатились в Анкару
золотые юнкера
безвозвратно.

Там дом, там Крым
шумит кедрами.

Не спят мальчики
русокудрые.

С далека заманчивый
чужой город спит.
Не спят мальчики —
они пьют спирт.

Выпей на пол-ордена,
мундир залатай...
Где ж твоя родина,
юнкер золотой?

За морем стобалльным,
за синей волной...
С нею больно,
без нее — больней.

Наплетут с три короба
на нее.
(У чужого города
сердце свое.)

Наплетут, насвищут,
но с каждым днем
будет она чище
в сердце твоём.

«Пусть ее вечер
по-осеннему сер,
но она ведь родина...
Как я посмел?!

Пусть она горькая,
пускай без сил,
но она ведь — матушка...
Где же я был?!»

...Вот мы и встретимся
на краю земли,
где, словно лебеди,
молчат корабли,
где начинается
первая рожь,
куда все равно, хоть зарежь,
приползешь.

Иду.

Гимнастерка в соленом поту.

Иду.

Отставать мне не хочется.

Я скоро на мокрый песок упаду
от раны осколочной корчиться.

Успею с тоскою подумать: «Готов...»

Приникну к багульнику рыжему...

Потом я восстану из цепких бинтов,
из мертвых воскресну

и выживу.

Потом все затянется корочкой. В срок.

Покажется легким, неистинным...

Ходьба — длинноногое чудо дорог —
опять меня выманит из дому.

И вот я иду. До последнего дня.

Иду. Спотыкаюсь. Прощается.

Наверно, земле ну никак без меня:
в обнимку со мною вращается.

РОДИНА

Говоришь ты мне слово покоя.
Говоришь ты мне слово любви.
Говоришь ты мне слово такое,
восхищенное слово «Живи!»

Я тобою в мучениях нажит,
в долгих странствиях каждого дня.
Значит, нужен тебе я и важен,
если ты позвала вдруг меня.

Говоришь ты мне долгие сроки.
Говоришь ты мне слово «Твори!»
Мои руки — они твои слуги,
не мои они слуги — твои.

И твое меня греет дыханье.
Значит, с празднествами и бедой,
с мелочами моими, с грехами
я единственный, праведный, твой.

Значит, люб я тебе хоть немного,
если, горечь разлуки клуба,
говоришь ты мне слово «Тревога!»,
отрываешь меня от себя.

И наутро встаю я и снова
отправляюсь в решительный бой...
Остается последнее слово.
Оставляю его за собой.

АНГЕЛЫ

Выходят танки из леса,
устало роют снег,
а неотступная тоска
бредет за нами вслед.

Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.

Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую,
горькую десантную.

Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что — ни капельки.
Какой учет, когда течет?
А на закуску — яблоки.

На рынке не развешенные
дрожащею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.

О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
и я забыл слова.

Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
И яблочко моченое
упало прямо в снег.

На белом снегу
лежит

оно.

Я к вам забегу
давным-давно,

как еще до войны,
как в той тишине,
когда так нужны
вы не были мне.



Осень ранняя.
Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист — это мордочка лисья...
Вот земля, на которой живу.
Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит — дождинки скоро польют.

По стволам пробегает горенье,
и стволы пропадают во рву.
Каждый ствол — это тело оленье...
Вот земля, на которой живу.
Красный дуб с голубыми рогами
ждет соперника из тишины...
Осторожней:
 топор под ногами!
А дороги назад сожжены!

ПЕСЕНКА О СОКОЛЬНИКАХ

По Сокольникам листья летят золотые,
а за Язу — лето летит.
Мы с тобою, Володя, почти молодые —
нам и старость в глаза не глядит.

Ну давай,
как в канун годового отчета,
не подумав заняться другим,
мы положим на стол канцелярские счета
и ударим по струнам тугим.

И разлукой, и кровью, и хлебом мякинным,
и победой помянем войну:
пять печальных костяшек
налево откинем,
а счастливую — только одну.

Все припомним, сочтем и учтем,
и, конечно,
не похожи на сказку и бред,



Не верю в бога и судьбу.

Молюсь прекрасному и высшему
предназначенью своему,

на белый свет меня явившему...

Чванливы черти, дьявол зол, бездарен бог —

ему неможется...

О, были б помыслы чисты!

А остальное все

приложится.

Верчусь, как белка в колесе,

с надеждою своей за пазухою,

ругаюсь, как мастеровой,

то тороплюсь, а то запаздываю.

Покуда дремлет бог войны —

печет пирожное пирожница...

О, были б небеса чисты!

А остальное все

приложится.

Молюсь, чтоб не было беды,

и мельнице молюсь,

и мыльнице,

воде простой, когда она из золотого крана вырвется,

молюсь, чтоб не было разлук,

разрух,

чтоб больше не тревожиться.

О, руки были бы чисты!

А остальное все приложится.

ПЕСЕНКА ОБ АРБАТЕ

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты — мое призвание,
Ты — и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои, люди не великие,
каблуками стучат — по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты — моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты — мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя!

УЛИЦА МОЕЙ ЛЮБВИ

Закрывают старую пивную.
Новые родятся воробьи.
Скоро-скоро переименуют
улицу

моей любви.

Имечко ей звонкое подыщут,
ласково, должно быть, нарекут,
на табличку светлую подышат,
тряпочкой суконною потрут.

Но останется

в подъездах

тихий заговор моих стихов,
как остались девушки в невестах
после долгих войн, без женихов.

А строитель ничего не знает,
то есть знает, но не признает.

Он топор свой буднично вонзает,
новый вид предметам придает.

Но по-прежнему
и неспроста ведь
мы слетаемся как воробьи —
стоит только снегу стаять —
прямо в улицу своей любви,
где асфальт придуман просто,
голубеет, как январский наст,
где воспоминанья, словно просо,
соблазняют непутевых нас.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Я видел удивительную, красную, огромную луну,
подобную предпраздничному первому помятому блину,
а может быть, подобную ночному комару, что в свой черед
легко взлетел в простор с лесных болот.

Она над Ленинградом очень медленно плыла.

Так корабли плывут без капитанов

медленно...

Но что-то бледное мне виделось

сквозь медное

покрытие

ее высокого чела.

Под ней покоилось в ночи пространство невское,
и слышалась лишь переключка

площадей пустых...

И что-то женское мне чудилось

сквозь резкое

слияние ее бровей густых.

Как будто гаснувший фонарь,
она качалась в бездне синей,
туда-сюда
над Петропавловкой скользят...
Но в том ее огне
казались мне
мои друзья
еще надежней и еще красивей.

Я вслушиваюсь:
это
их каблуки отчетливо стучат...
и словно невская волна
на миг взметнулось эхо,
когда друзьям я прокричал,
что на прощание кричат.
Как будто сам себе
я прокричал
все это.

и если измерить попробовать
муку их мусорную —
за белыми спинами дворников встанут хребты.
...Мы тоже стараемся. Метлами пестрыми
взмахиваем.

Нам тоже, как дворникам,
очень не сладко стареть.
Мы метлами пестрыми взмахиваем,
годы стряхиваем,
да только всего, что накоплено,
нам не стереть.

Таковыми по городу ходим.
Дороги окраинные
сливаются все
и к Арбату, представьте, ведут,
и белые дворники наши,
в трех войнах израненные,
кружатся-кружатся
и улицу нашу метут.
Метите, метите!..

Еще вам метелки распущенные
не день, и не два, и не три
поднимать на заре,
пока не уверуют жители,
вами разбуженные,
что рай наконец наступил
на арбатском
дворе.

ЧАЕПИТЬЕ

Начинается чаепитье.
Поднимая чашки свои,
хлещут красные черепицы
от зари голубые чаи.

Эта мартовская работа
все меняет за пять минут:
голубые капельки пота
по оконным стеклам бегут.

Птицы первые распевают.
Рушь, погода, сугробы! Рушь!
Слышно — новые поспевают
самовары солнца и луж.

Пей, земля! Мостовые, пейте!
Пейте сладкое то питье.
Вам на белом весеннем свете
без того питья не житье.

**И, усталый, больной и хрупкий,
оседает снег на заре.
Поднимайте чашки и кружки!
Чаепитье у нас на дворе!**



В саду Нескучном тишина.
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовут Дорога...
Какая дальняя она!

ПЕШЕХОДОВ РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО

Их родословное древо росло не в теплицах.
Не для них лихачи приспособляли
бубенцы под дугу.
Только раз на веку
им везло прокатиться:
только раз на веку,
да и то на последнем шагу.
Привозили в кибитках
и в клетках,
в тюремных фургонах,
в вагонах,
но всходили на сбитые наскоро эшафоты
пешеходы.
Было принято кланяться —
кланялись,
век менялся — молчали,
как святые,
вытягивались
перед толпой,

то на вечную память
переглядывались
с палачами,
то, кудрями тряхнув,
кидались стремглав
под топор.

Всё умели они:
выйдут в поле —
там за колосом колос,
то дворцы в небеса вознесут,
топоришки достав.

И возьмут медяки,
и подрядчику сломятся в пояс,
и пойдут-побредут,
не поняв своего колдовства.

А любовь?..
Что любовь?..
Где-то там, за густыми лесами...

Нет, не пели
серенад утонченных
у обложенных львами ворот.

Но у ситцевой женщины
вечно перед глазами
тот,
сошедший с ума
от любви по ней,
пешеход...

Каждый век начинал эту старую песню
сначала,
и война приходила,
и она в свои трубы
кричала,

и тогда
не по росту шинелишки
напяливали пешеходы,
не отвыкнув еще
от домашних скорбей и болей...
Но в поля выходила
и насмерть стояла
пехота —
царица полей.
...Ну, а мы?
Нам ведь тоже,
чтобы небо — всегда голубое!
Всё мы выстроим,
выстоим,
долгой молодости
обучим детей,
и не за медяки,
не за почести —
просто так:
по любви,
по земной по своей
высоте.



Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих.
Что-то светлое и молодое,
удивлённое смотрит из них.

Я листаю страницы.

Маячит

пережитое.

Я как в плену.

Вон какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вон какая-то женщина плачет —
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю страницы,

листаю,

я влюбленно листаю листы:

пережитого громкие стаи,
как синицы,
летят на кусты.

И уже не чайти человека,
кто не понял бы вдруг на заре,
что погода двадцатого века
началась на арбатском дворе.

О, ладони твои все умеют,
все, что было, читаю по ним,
и когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим,
припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...

Кто там плачет?..
Никто там не плачет...
Просто дети играют в войну!



Нацеленный глаз одинокого лося.
Рога в серебре, и копыта в росе.
А красный автобус вдоль черного леса,
как заяц, по белому лупит шоссе.

Шофер молодую кондукторшу любит.
Ах, только б автобус дошел невредим...
Горбатых снопов золотые верблюды
упрямо и долго шагают за ним.

Шагают столбы по-медвежьи, враскачку,
друг друга ведут, как коней, в поводах,
и птичка какая-то, словно циркачка,
шикарно качается на проводах.

^ лес раскрывает навстречу ворота,
и ветки ладонями бьют по лицу.
Кондукторша ахает на поворотах:
ах, ей непривычно с мужчиной в лесу!

Сигнал повисает далекий-далекий.
И смотрят прохожие из-под руки:
там красный автобус на белой дороге,
у черного леса, у синей реки.

О КУЗНЕЧИКАХ

Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят.
Над ними синие туманы во все стороны летят.
Под ними красные цветочки и золотые лопухи...

Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.
Они перышки макают в облака и молоко,
чтобы белые их строчки было видно далеко,
и в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит,
но заглядывать в работу

один другому не велит.

К ним бежит букашка божья, бедной барышней бежит,
но у них к любви и ласкам что-то сердце не лежит.

К ним и прочие соблазны подбираются, тихи,
но кузнечики не видят — пишут белые стихи.

Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек

кропит,

шар земной на повороте

утомительно скрипит...

Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой
прорастает неизменно вещей смысл работы той,

АИСТЫ

Вот вам, пожалуйста,
первые краски заката,
вечного аиста
белые хлопья над хатой,
старой пословицы
словно хранящие цену:
все, мол, устроится,
были бы аисты целы.

С неба ли звездного
в окна крадутся потемки?
Чем там до позднего
заняты в этой хатенке?

Редко ли,
часто ли,
вправду ль о виденном судят?
Крепко ли
счастливы?
Вовремя ль молоды люди?

Спросишь о прожитом,
глянешь в глаза через силу:
что, мол, встревожены?
Аиста, мол, не хватило.
Как, мол, без аиста?
Вот и бедуешь в жилище,
и спотыкаешься,
и виноватого ищешь...

Дело не в старости.
Это совсем про другое:
были бы аисты
белые
над
головою.

ОСЕНЬ В КАХЕТИИ

Вдруг возник осенний вечер, и на землю он упал.

Красный ястреб

в листьях красных

словно в краске утопал.

Были листья странно скроены,

похожие на лица —

сумасшедшие закройщики

кроили эти листья,

озорные, заводные посшивали их

швей...

Листья падали

на палевые

пальчики

свои.

Называлось это просто:

отлетевшая листва.

С ней случалось это часто

по традиции по давней.

Было поровну и в меру в ней
улыбки и страданья,
торжества и увяданья,
колдовства и мастерства.

И у самого порога, где кончается дорога,
веселился, и кружился, и плясал
хмельной немного
лист осенний,
лист багряный,
лист с нелепою резьбой...
В час, когда печальный ястреб вылетает на разбой.

ЧУДЕСНЫЙ ВАЛЬС

Ю. Левитанскому

Музыкант в лесу под деревом
наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс
то ласково, то страстно.
Что касается меня,
то я опять гляжу на вас,
а вы глядите на него,
а он глядит в пространство.

Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник.
Тот пикник, где пьют и плачут,
любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте.
Я бы к вам приник!
Но вы, наверно, тот родник,
который не спасает.

А музыкант играет вальс.

И он не видит ничего.

Он стоит, к стволу березовому прислонясь плечами.

И березовые ветки

вместо пальцев у него,

а глаза его березовые

строги и печальны.

А перед ним стоит сосна

вся в ожидании весны.

А музыкант вырастает в землю...

Звуки вальса льются.

И его худые ноги

как будто корни той сосны —

они в земле переплетаются,

никак не расплетутся.

Целый век играет музыка.

Затянулся наш роман.

Он затянулся в узелок, горит он — не сгорает...

Ну давайте ж успокоимся!

Разойдемся по домам!..

Но вы глядите на него...

А музыкант играет.

ВРЕМЯ

Кот бережет минуту,
пес бережет года,
бронзовый лев в карауле
бодрствует всегда.

Звери

даже мгновений
не отдают никому...
Только мы изменяем
времени своему.

Ловкие транжиры
с палочками в руках.
Время для нас — что деньги
в чужих

кошельках.

Время для нас — что звезды,
падающие

по ночам...

СТАРЫЙ ПИДЖАК

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя:
«Перекроите все иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».

Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.

Одна забота наяву
в его усердье молчаливом:
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.

Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

качаясь,
 игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит,
 чтоб старую кровь отворить.

О, вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас,
 выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита,
 кларнеты ограды
свистят менуэты...
 И улица России поет!

КАК Я СИДЕЛ В КРЕСЛЕ ЦАРЯ

Век восемнадцатый.

Актеры

играют прямо на траве.

Я — Павел Первый,

тот, который

сидит России во главе.

И полонезу я внимаю,

и головою в такт верчу,

по-царски руку поднимаю,

но вот что крикнуть я хочу:

«Срывайте глупые наряды!

Презренье хрупким каблукам...

Я отменяю все парады...

Чешите все по кабакам...

Напейтесь все,

переженитесь

кто с кем желает,

кто нашел...

А ну, вельможи, оглянитесь!
А ну-ка денежки на стол!..»
И золотую шпагу нервно
готов я выхватить, грозя...
Но нет, нельзя.

Я ж — Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
И снова крикнуть я хочу:
«Ребята,
наострите руки,
вам это дело по плечу:
смахнем царя... Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям —
мне самому они приелись...
Я поведу вас сам... Я сам...»
И золотую шпагу нервно
готов я выхватить, грозя...
Но нет, нельзя.

Я ж — Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
Мгновение — и закричу:
«За вашу боль, за ваши муки
собой пожертвовать хочу!
Не надо, судей не жалейте,
иначе — всем по фонарю.
Я зрю сквозь целое столетье...
Я знаю, что я говорю!»

И золотую шпагу нервно
готов я выхватить, грозя...
Но нет, нельзя.

Я ж — Павел Первый.

Мне бунт устраивать нельзя.



Надежда, белою рукою
сыграй мне

что-нибудь такое,
чтоб краска схлынула с лица,
как будто кони — от крыльца.

Сыграй мне
что-нибудь такое,
чтоб ни печали, ни покоя,
ни нот, ни клавиш и ни рук...
О том,

что я несчастен,

врут!

Еще нам плакать и смеяться,
но не смиряться, не смиряться...
Еще не пройден тот подъем...
Еще друг друга мы найдем...

Все эти улицы — как сестры.
Твоя игра — их говор пестрый,
их каблуков полночный стук...
Я жаден до всего вокруг.



Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.

Мы земных земней.
И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто
мы на крыльях носим
то, что носят на руках.

Просто
 нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда нежданный берег
из тумана выйдет к вам.

ИЗ ПОЭМЫ

Любовь, любовь — такое государство,
где нет ни бед, ни радостей твоих,
где пламень сердца и души богатства —
всё ровно пополам, всё на двоих.

Где назревает днями и ночами
еще неведомое торжество,
где все — как рекруты, всё — как начало
и каждый начинает с ничего.

Однако замечаю я, что прячут
какие-то досады от меня.
Над Ней ломают головы и плачут
и странные дают ей имена.

Я замечаю горестные лица.
Мне самому страшна судьба моя...
О, что-то, знать, неладное творится
в стране Любовь, где проживаю я.

Люблю с оглядкой, верю осторожно,
спешу тревожно из далеких мест.
Лицо любви — оно как знак дорожный,
не разрешающий прямой проезд.

И для нее, как на года осады,
как против крепости, готовят здесь
и соглядатаев, и диверсантов,
и западни, и подкупы, и лесть.

А кто готовит?
Тот, кто был счастливым.
Им все прошло, им нету ничего...
Ах, рекруты! Вы, милые, смешливы
до первого срезенья своего.

Мол, где они там, страхи? За годами.
Ах, молодость,— гасить не погасить...
Все похохатываете,
Адамы,
все яблочка торопитесь вкусить.

Пока ж вы ходите, его срывая,
для вас лежит в наветах и пыли
не упраздненная, но не живая
античная империя любви.

Заиграют грачи над его головой,
грохнет лед на реке в лиловые трещины...
Но останется снежная баба вдовой...
Будьте, дети, добры и внимательны

к женщине.



Ты в чем виновата?
Ты в том виновата,
что зоркости было
в тебе маловато:

красивой слыла,
да слепою была.

А в чем ты повинна?
А в том и повинна,
что рада была
любви половинной:

любимой слыла,
да ненужной была.

А кто в том виною?
А ты и виною:

все тенью была
у него за спиною,

все тенью была —
никуда не звала.

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне не вмошь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...

Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москвѣ,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

СТАРЫЙ ДОМ

1

Пятится он, к переулочку лепится,
старьем его занесло-занесло,
а мимо бегут-проплывают троллейбусы,
голубые и звонкие, как назло.

А он свои рыжие трубы поднимает,
а он еще приветствует своих ворон,
и лестничкой поскрипывает, и не понимает,
что хватит.

Нечего.

Приговорен.

А он пересуды еще лепит смачные,
ядовитой плесени разливает моря...
Осторожно, девочка! Он тебя запачкает,
твои круглые плечики, голубка моя!

Завтра же. На рассвете розовом.
И ни минутой позже. Чтобы как в строю.

Сходитесь, люди!

Сползайтесь, бульдозеры!

Спасайте девочку —

голубку мою!

Пусть стены закачаются, коридоры скользкие
рухнут

и покатится гул по мостовой,
чтоб вышло пропавшее без вести войско,
спасенное войско дышать Москвой.

2

Дом предназначен на слом. Извините,
если господствуют пыль в нем и мрак.

Вы в колокольчик уже не звоните.

Двери распахнуты. Можно и так.

Все здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем.

Ночь неспроста тишину созвала.

Серые мыши, печальные мыши

все до единой ушли со двора.

Где-то теперь собралось их кочевье?..

Дом предназначен на слом.

Но сквозь тьму,

полно таинственного значенья,

что-то еще шелестит по нему.

Мел осыпается. Ставенка стонет,
Двери надеются

на визит.

И удивленно качается столик.
И фотокарточка чья-то висит.

И, припорошенный душною пылью,
помня еще о величье своем,
дом шевелит пожелтевшие крылья
старых газет, поселившихся в нем.

Дом предназначен на слом. Значит, кроме
не улыбнется ему ничего.
Что ж мы с тобой позабыли в том доме?
Или не все унесли из него?

Может быть, это ошибка? А если
это ошибка? А если — она?..
Ну-ка гурьбой соберемся в подъезде,
где, замирая, звенит тишина!

Ну-ка взбежим по ступенькам знакомым!
Ну-ка

для успокоенья души
крикнем, как прежде:

«Вы дома?.. Вы дома?!..»

Двери распахнуты.

И ни души.

НОВОЕ УТРО

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.

Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.

И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

СЫНУ

Он входит точно по утрам,
когда рассветный тарарам
еще не смог очнуться,
лишь стоит под рукой дверям
едва-едва качнуться.

Он входит в день мой неспроста
походкой Черного Дрозда...
Что для него приметы?..
И сразу
на свои места
становятся предметы.

И он стоит невдалеке,
храня минуту эту,
и держит красный мяч в руке,
как целую планету.

**И за тобой уходит вскачь,
впервые тронут болью,
мой Черный Дрозд,
твой красный мяч
по золотому
полю.**

КОРОЛЬ

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему званье короля.

Был король, как король, всемогущ. И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку, и спасет.

Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку, как корону —
набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Ленки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

Господи,
легко ли мне?..
Вам-то
хорошо ль
со мною?..

ПЕСЕНКА ПРО МАЛЯРОВ

Уважайте маляров,
как ткачей и докторов!
Нет, не тех, что по ограде
раз мазнул и — будь здоров.
Тех, что ради солнца,

ради

красок

из глубин дворов
в мир выходят на заре:
сами в будничном наряде,
кисти — в чистом серебре.

Маляры всегда честны.
Только им слегка тесны
человечьей жизни сроки,
как недолгий свет весны.
И когда ложатся спать,
спят тела,
не спится душам:

этим душам
 вездесущим
красить хочется опять.

Бредят кистями ладони,
краски бодрствуют,
 спешат,
кисти,

 как ночные кони,
по траве сырой шуршат...
Синяя по окнам влага,
бурный оползень оврага,
пятна на боках коров —
это штуки маляров.
Или вот вязанка дров,
пестрая как наважденье,
всех цветов нагроможденье:
дуба серая кора,
золотое

 тело
 липы,
красный сук сосны,
 облитый
липким слоем серебра...
Или вот огонь костра...
Или первый свет утра...

Маляры всегда честны.
Только им слегка тесны
сроки жизни человеческой,
как недолгий бег весны.

И когда у них в пути
обрывается работа,
остается впереди
недокрашенное что-то,
как неспетое — в груди...

Уважайте маляров —
звонких красок мастеров!
Лейтесь, краски,
пойте, кисти,
крась, маляр,
и будь здоров!

СТИХИ БЕЗ НАЗВАНИЯ

Оле

1

Вся земля, вся планета — сплошное «туда».

Как струна

дорога звонка и туга.

Все, куда бы ни ехали, только — туда,

и никто не сюда. Все — туда и туда.

Остаюсь я один. Вот так. Остаюсь.

Но смеюсь (я признаться боюсь, что боюсь).

Сам себя осуждаю, корю.

И курю.

Вдруг какая-то женщина (сердце горит)...

— Вы куда?! — удивленно я ей говорю.

— Я сюда...— так влюбленно она говорит.

«Сумасшедшая! — думаю.— Вот ерунда...

Как же можно «сюда», когда нужно — «туда»?!»

Строгая женщина в строгих очках
мне
рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках,
о том, как они понемногу,
едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.

Мы берем их пальто, приглашаем к столу
и признательные
расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают
свои допотопные скрипки,
расправляют
помятые сюртучки,
поднимают
над головами смычки,
распрямяют
свои вдохновенные усики...
Что за дом,
если в нем
не пригреты сверчки
и не слышно их музыки!..

Строгая женщина щурится из-под очков,
по столу громоздит угощение...

Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознаграждение.
Я помятые им вручаю рубли,
их рассаживаю
по чину и званию,
и играют они вечный вальс
по названию:
«Может быть, наконец,
повезет мне в любви...»

3

Я люблю эту женщину.
Очень люблю.
Керамический конь увезет нас постранствовать,
будет нас на ухабах трясти и подбрасывать...
Я в Тарусе ей кружев старинных куплю.

Между прочим,
Таруса стоит над Окой.
Там торгуют в базарные дни земляникою,
не клубникою,
а земляникою,
дикою...
Вы, конечно, еще не встречали такой.

Эту женщину я от тревог излечу
и себя отучу
от сомнений и слабости,
и совсем не за радости и не за сладости
я награду потом от нее получу.

Между прочим,
земля околдует меня
и ее
и окружит людьми и деревьями,
и, наверно,
уже за десятой деревнею
с этой женщиной
мы потеряем коня.

Ах, как гладок и холоден был этот конь!
Позабудь про него.
И, как зернышко — в борозду,
ты подкинь-ка, смеясь, августовского хвосту
своей белою пригоршней
в красный огонь.

Что ж касается славы, любви и наград...
Где-то ходит, наверное, конь керамический
со своею улыбочкою
иронической...

А в костре
настоящие сосны горят!

4

Вокзал прощанье нам прокличет,
и свет зеленый расцветет,
и так легко до неприличья
шлагбаум руки разведет.
Не буду я кричать и клясться,
в лицо заглядывать судьбе...

Но дни и версты будут красться
вдоль окон поезда,

к тебе.

И лес, и горизонт далекий,
и жизнь,

как паровозный дым,

всё — лишь к тебе,

как те дороги,

которые

когда-то

в Рим.

ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА

Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.

Она еще очень неспетая,
она зелена, как трава,
но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та, самая главная, песенка,
которую спеть я не смог.

СОДЕРЖАНИЕ

Песенка об открытой двери	7
Паравай	8
Веселый барабанщик	10
Меловек	12
Певкой	13
Сентиментальный марш	17
«Анкара, Анкара!»	19
«Ходьба — длинноногое чудо дорог...»	22
Родина	24
Ангелы	26
Два великих слова	28
«Осень ранняя...»	30
Песенка о Сокольниках	32
«Не верю в бога и судьбу...»	34
Песенка об Арбате	36
Улица моей любви	37
Ленинградская элегия	39
Песенка о белых дворниках	41
Чаепитье	43

«В саду Нескучном тишина...»	45
Пешеходов родословное древо	46
«Раскрываю страницы ладоней...»	49
«Нацеленный глаз одинокого лося...»	51
О кузнечиках	53
Аисты	55
Осень в Кахетии	57
Чудесный вальс	59
Время	61
Старый пиджак	63
Ленинградская музыка	65
Как я сидел в кресле царя	67
«Надежда, белою рукою...»	70
«Не бродяги, не пропойцы...»	72
Из поэмы	74
«На арбатском дворе — и веселье и смех...»	76
«Ты в чем виновата?..»	78
Полночный троллейбус	80
Старый дом	82
Новое утро	85
Сыну	86
Музыка	89
Король	91
«Рифмы, милые мои...»	93
Песенка про маляров	95
Стихи без названия	98
Главная песенка	103

Окуджава
Булат Шалвович

ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНЩИК

М., «Советский писатель»,
1964, 108 стр.

Редактор **В. С. Фогельсон**
Художник **Л. Б. Подольский**
Худож. редактор **Д. С. Мухин**
Техн. редактор **Н. Д. Бессонова**
Корректор **М. А. Ойсгольт**

Сдано в набор 1/IV 1964 г.
Подписано к печати 13/VI 1964 г.
А 02177. Бумага $70 \times 108^{1/32}$.
Печ. л. $3^{3/8}$ (4,62). Уч.-изд. л. 2,40
Тираж 10 000 экз. Заказ № 53
Цена 12 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, д. 109



Copyright Flegon Press 1966
24 Chancery Lane,
London, W.C.2.

Издательство просит читателя
дать отзыв об этой книге,
указав свой точный адрес,
профессию и возраст.
Библиотечных работников
издательство просит организовать
учет спроса на книгу
и сбор читательских отзывов.

Наш адрес:
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10,
издательство «Советский писатель».